

ПИСАЛ ПИСАЧКА, А ИМЯ ЕМУ СОБАЧКА

(К происхождению субтекста
в «Записках сумасшедшего» Гоголя)

ЛЮДМИЛА ЗАЙОНЦ

Содержанья, зарытого в деталях не
видишь сперва; в мелочах, между
тем, — «зарыта собака».

А. Белый. Мастерство Гоголя

...бумага вышла из такого угла, от-
куда и подозревать никто не мог...

Гоголь

Уже на раннем этапе изучения «Записок сумасшедшего» (далее ЗС) роль Меджи и Фидели представлялась исследователям «не совсем ясной». На это сетовал Г. И. Чудаков, автор первых работ о влиянии западноевропейских литератур на творчество Гоголя [Чудаков: 104]. В том же смысле высказывался и Л. В. Пумпянский: «Главное затруднение, — писал он, — с собаками». Художественной мотивации для их появления в тексте повести он не находил. Предложенный им поворот: «Но собаки ли это? <...> Подкупленные слуги — вот сюжетный прототип переписки собак» [Пумпянский: 341] — жест для Пумпянского не характерный, а здесь и уводящий от Гоголя, — так и не дает ответа ни на один из возникающих вопросов: почему собаки? Что в них увиделось Гоголю? Почему именно им, а не каким другим существам, доверена тайная переписка и — роль поприщинского alter ego?

Все эти вопросы, как и вопрос о происхождении самого эпистолярного сюжета, никогда особенно не занимали гоголеведов: роль собачек рассматривалась как «чисто служебная», а ближайшим и все объясняющим фоном была объявлена немецкая романтическая традиция с ее разнообразным «ученым»

бестиарием [Чудаков: 103; Гоголь 1938: 704]. В конце XX в. наука констатировала: «Как известно, самый невыясненный вопрос — это вопрос о соотношении “переписки собачек” и “записок” Поприщина» [Ковач: 183]. Однако ни идея сюжетного параллелизма, предложенная А. Ковачем в качестве основного структурообразующего принципа текста, ни недавнее исследование А. А. Фаустова, рассматривающего повесть как сложносочиненную мотивную «партитуру» [Фаустов: 170–178], не дают ответа на вопрос, почему же переписываются именно собаки (кошки, к слову, были бы в этой роли и понятнее, и уместнее с их закрепленными той же традицией эпистолярными навыками) и почему именно *их* оптика становится отражением безумия Поприщина¹. Поняв это, мы получим доступ к онтологии собачьего сюжета и принципам его взаимодействия с замыслом и поэтикой повести.

Выведенные Гоголем на поверхность аллюзии, тем не менее, прочитывались современниками, как прочитывалась «неистовая школа» в «Невском проспекте» [Виноградов] или традиция «вечерних» циклов, подсвеченная модой на Жозефа де Местра, в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» [Манн: 213–217], что входило в авторскую стратегию. «Петербургские повести» — повести в так называемом «новом вкусе». Все, что рассчитано в них на узнавание и оценку критики, — мастерски скроенная «обертка». В полной мере это относится и к ЗС, включенным позже в состав «петербургских повестей». Скрытой же остается «кухня» текста, где, как представляется, и следует искать следы Меджи и Фидели.

Не умаляя и не оспаривая значения актуального для повести литературного и социального контекста, мне бы хотелось взглянуть на переписку собачек сквозь призму иной культурной традиции, утратившей привлекательность для читателей и

¹ Символическая связь образа собаки с темой безумия, о чем упоминает А. А. Фаустов с ссылкой на В. Беньямина (см.: [Фаустов: 175; Беньямин: 155]), формально вполне легитимирует появление в повести собак, однако никак не разрешает вопроса о поэтических механизмах взаимосвязи «писем» и «записок».

критиков «Арабесок», и, возможно, по этой причине на долгие годы выпавшей из поля зрения исследователей.

Интерес к декоративным породам собак нехозяйственного назначения начинает распространяться в России с начала петровской эпохи и заметно активизируется к концу XVIII столетия. Бытовая культура, изобразительное искусство, беллетристика переживают в эти годы настоящий собачий бум. Жанровые сценки с участием собак и собачек появляются на веерах, подушках, в ювелирных и фарфоровых изделиях, акварелях, миниатюрах. Своего апогея это увлечение достигает в эпоху сентиментализма: собакам посвящают мадригалы, мемуары, эссе, статьи в словарях и энциклопедиях, рисунки и надписи в альбомах [Hammarberg: 177–181]². Мода на собак сливается с новомодным культом чувствительности, в рамках которого формируется представление о собаке как о сочувственнике и наперснике — «сентиментальном друге человечества» [Шаховской: 736]. «Собачий мир» моделируется как антропоморфный: собак балуют, наряжают, провожают в последний путь, им пишут эпитафии, с них — портреты, на их могилах сооружают памятники³. Мода на собак сливается с новомодным

² В статье Г. Хаммарберг “Dogs and Doggerel: Gogol’s Eighteenth-Century Roots” [Hammarberg], ознакомиться с которой мне довелось уже по завершении работы, дан обзор более или менее известных литературных источников конца XVIII – начала XIX вв., посвященных собакам. Интерес представляют введенные автором в научный оборот материалы рукописных альбомов нач. XIX в. из собрания РГАЛИ. Упомянутые исследовательницей в связи с заявленной темой тексты Гоголя («Нос», «Записки сумасшедшего» и «Мертвые души») в самой статье не рассматриваются.

³ Ср. известную надгробную пирамиду в Царском Селе, у подножия которой, под мраморными плитами с эпитафиями, были похоронены любимые левретки Екатерины II; см. у Державина «На памятник прекрасного пуделя», «На могилу милой собачки» и подобные; современные Гоголю гравюры П. А. Федотова «Болезнь и смерть Фидельки» и «Последствия смерти Фидельки» (1844), где на первом плане изображен художник, пишущий портрет с умершей собачки и одновременно обсуждающий эскиз надгробного памятника.

культом чувствительности, в рамках которого формируется представление о собаке как о сочувственнике и наперснике — «сентиментальном друге человечества» [Шаховской: 736]. Следующим шагом в социализации собачьего мира становится открытие в нем «вербального» кода: собака вступает в диалог с хозяином, обретая статус мудрого советчика и собеседника. Показателен в этом смысле текст А. Болотова «Моя Моська», сознательно выстроенный как «душевный разговор» с домашней любимицей: «Ах, Мосенька, умница дорогая!.. напоминай мне, Мосенька, <...> скажи: “Дурно-де, сударь! Нехорошо и, право, нехорошо это вы делаете” <...> Скажи мне, Мосенька, дале <...> Тако вещай мне, Мосенька моя, всякий раз, когда ни забредет сердце мое с путя должного <...> Скажу тебе, Мосенька <...> Скажи мне, наконец <...> — “не постыдите себя, сударь, <...> и со всем вашим высоким разумом не сделайте меня глупее” <...> Я окончил разговор мой с нею, сказав...» [Болотов: 336–338]⁴.

Своеобразную «перекодировку» эта культурная тенденция претерпевает, попадая в лубок, низовые жанры литературы (сонники, лечебники, адрес-календари) и массовую периодику — все, что входило в XVIII в. в настольное чтение, — где о собаках сообщается как о некоем зоологическом феномене, существах, обладающих редкими способностями, в том числе и лингвистическими. Так в журнале «Экономический магазин» за 1789 г. в заметке «Нечто любопытное о собаках» говорится о новонайденном письме славного философа г. Лейбница, в котором он, описывая свою прогулку по городу Цейцу, сообщает аббату Сен-Пьеру, что видел и слышал говорящую собаку, выговаривающую многие слова, как, например, *чай*,

⁴ Ср. сатирическую сублимацию этой модели в современной Гоголю массовой литературе: «Один безбородый дуралей, напыщенный своею рифматорскою прозою, а не менее того самим собой, начал в нескладном ораторстве читать сочинения на случай умершей, самим им воспитанной собаки, которая выучилась каждое утро произносить *bonjour, Adonis; bonjour, beau mignon*. “Прекрасно! бесподобно!” вскричали две шестидесятилетния Венеры...» [Дамский раскащик: V].

кофей, компания и пр. [ЭМ: XXXVIII, 174]. Возникающая параллель с известным фрагментом в ЗС («Говорят, в Англии выплыла рыба, которая сказала два слова на таком странном языке <...> читал тоже в газетах о двух коровах, которые пришли в лавку и спросили себе фунт чаю...») тем очевидней, что реакция Поприщина, попавшего у Гоголя в аналогичную ситуацию, совпадает с читательским восприятием XVIII в.: «Признаюсь, я очень удивился, услышав ее говорящую по-человечески. Но после, когда я сообразил все это хорошенько, то тогда же перестал удивляться. Действительно, на свете уже случилось множество подобных примеров» (о которых читатель знает из тех же источников). Однако интересно здесь не столько совпадение, сколько дальнейший ход размышлений Поприщина: «Я давно подозревал, что собака гораздо умнее человека; я даже был уверен, что она может говорить, но что в ней есть только какое-то упрямство»⁵. В этом же уверен и автор заметки в «Экономическом Магазине», полагающий, что, если такая собака и говорит, то, «как кажется, делает она сие против своего хотения и с принуждением» [Там же].

Убежденность Поприщина в «сверхчеловеческой» компетенции собак («Собаки народ умный, они знают все политические отношения...») восходит к эпохе Просвещения, доверившей собаке роль агента-резонера, посредника между миром природы и цивилизации, порядком и хаосом, истинным знанием и ложным. Можно даже предположить, при посредничестве каких именно текстов это произошло. В их числе вполне могла оказаться переводная повесть «Жизнь и приключения малого Помпé, постельной собаки. Критическая история» (1766), в предисловии к которой избранность собачьего племени про-

⁵ Любопытно почти дословное совпадение процитированной фразы Поприщина с фрагментом одного из писем Екатерины II к Ф. М. Гримму в 1776 г.: «Я всегда любила зверей <...> животные гораздо умнее, чем мы думаем, и если было когда-нибудь на свете существо, имевшее право на речь, то это, без сомнения, Том Андерсон <одна из любимых левреток Екатерины. — Л. 3.>» [Екатерина: 46]. В письмах к Гримму собачки описываются Екатериной исключительно как люди.

странно аргументируется: «Одним словом сказать, они <собаки> очень много знают <...> К великой славе служит еще собакам, что они основали в Греческой земле Филозовскую школу, из которой ученики не думали быть униженными, приняв на себя имя Циников, то есть псов, и не сомневались, уподобившись во всем сим животным, знаменитое получить имя» [Помпе: 3–5]. Сюда же можно отнести и новеллы Сервантеса, первые переводы которых стали появляться в России в 1760-х гг. В одной из них была представлена вдохновившая Гофмана беседа собак Сципиона и Берганцы [Ziolkowski 1983; Sriecker], которые сами были поражены собственной способностью не просто говорить, но говорить *осмысленно*. Квалифицируя эту способность как явление экстраординарное, они отнесли его к разряду «чудесных знамений», указывающих на приближение неких «опасных событий» [Сервантес: 23] (подробность, не затронувшая новеллу Гофмана о судьбе собаки Берганца).

Естественным следствием лингвистических навыков становится потребность излагать свои мысли на бумаге. Здесь у Меджи и Фидели также были предшественники, и, что немало важно, имеющие отношение к самому высшему обществу. В исследовании К. Мак-Донох упоминается об опубликованных в журнале “*Mercurie Galant*” посланиях в стихах, написанных спаниелем некоей великосветской дамы, а также о том, как в 1748 г. Фридрих Великий обменивался письмами со своей сестрой, представляя их как переписку его левретки с ее спаниелем [MacDonogh: 61–64; Hammarberg: 182]. Г. Хаммарберг приводит любопытные свидетельства проникновения собачьего «голоса» на страницы дамских альбомов нач. XIX в. Маску «постельной собачки» охотно примеряют на себя поклонники хозяйки салона и, включаясь в поэтическую игру, выступают в альбоме с клятвами в любви, верности и угрозами покусать тех, кто не разделяет их привязанности. Стихи преподносятся как надписи на ошейнике и сопровождаются акварельными или карандашными «автопортретами» любимцев [Hammarberg: 177–181]. Домашняя собачка обретает, таким образом, не только речь, но и стиль (слог), обнаруживая

бойкое и легкое перо («Да этак просто не напишет и наш начальник отделения»), а с ним и навыки интимной переписки⁶.

Однако не все «образованные» собаки XVIII в. были допущены в круг избранных. В него вошли по преимуществу декоративные породы, репрезентирующие стиль эпохи рококо и позже эстетику сентиментализма. В 1795 г. «Магазин общепользных знаний и изобретений» публикует обстоятельную статью о вошедших в моду породах собак, начиная их обзор словами: «Я не пушусь в описание ни красивой Датской, ни отважной Ангинской собаки, ни умнаго Пуделя, ни проворства борзой, ни остраго чутья гончей <...>; мне можно только говорить о счастливейших изнеженных любимцах псовой породы, разделяющих с нами комнату, постелю и любовь нашу и известных под общим названием *постельных собачек*» [Магазин знаний 1795: 295]. Мода на постельных собачек была завезена в Россию в XVII столетии, а к концу следующего превратилась в своеобразный светский шик. Маленькая собачка, выполняя в домашнем обиходе роль живой игрушки, за пределами дома становилась в один ряд с модными аксессуарами, такими же автономными и знаковыми для эпохи, как шляпа, лорнет или трость (ср. иронический портрет сентиментального вояжера у Вяземского: *С собачкой, с посохом, с лорнеткой, / И с миртовой от мошек веткой, / На шее с розовым платком...* — «Отъезд Вздыхалова»). Фаворитами среди салонных собачек второй половины века были левретки, слабость к которым питали и Петр I (чучело своей любимицы Лизетты он, как известно, передал в Кунсткамеру), и Екатерина II (ее любовь к династии обитавших в ее покоях английских левреток была общеизвестна), болонки, стайками сопровождавшие маркизу де Помпадур, и мопсы. Законодателями моды на мопсов были Уильям Хогарт (илл. 1), Вольтер, мадам де Помпадур, ко-

⁶ Точной эмблемой этого жанра мог бы стать рисунок в альбоме Александры Хандвиг, на котором изображена собака, несущая на себе Купидона с посланием в одной руке, а второй — натягивающего тетиву лука, в который, как в уздечку, «запряжена» собака [Hammarberg: 181].

ролева Мария-Антуанетта. Пика популярности эта порода достигает в наполеоновскую эпоху, принесшую известность любимому мопсу Жозефины Фортуне: охраняя свою хозяйку, он укусил Наполеона в первую брачную ночь, позже, однако, служил супругам почтальоном, перенося под ошейником их послания друг к другу.



Илл. 1. У. Хогарт. Автопортрет с мопсом. 1745

В России мопсов называют моськами⁷, и именно о них как о наиболее популярной породе постельных собачек писал в

⁷ МОСЬКА — мосечка, мосенька ж. мопс, собака мосячей, мосечной, моськовой породы: тупорылая, курногая, песочной шерсти, с черными подпалинами (Сл. Даля).

конце XVIII в. «Магазин общепользных знаний и изобретений»: «В число самых первых постельных собачек неоспоримо полагаются *моськи*», и далее — об их высоком «послужном списке»: «В Галерее герцогского дворца в Готе поставлены в ряд списанные во весь рост портреты всех саксонских принцев и Принцесс, на которых почти у каждого Принца изображена в ногах его верная меделянская собака, и подле каждой принцессы маленькая постельная собачка; последняя суть либо моськи, либо маленькие Датские собачки» [Магазин знаний 1795: 297]. В 1791 г. журнал «Магазин английских, французских и немецких новых мод» объявлял, что мопсы нынче «принадлежат <...> к новейшим статьям щеголеватых наших дам. Несколько собак сего пришедшего уже в забвение роду выписали сюда недавно из Берлина, где уповательно на них мода опять возобновилась...» [Магазин мод 1791: III, 24] (илл. 2).



Илл. 2. Гравюра «Мопс или моська».
Из неустановленного издания. Россия, XVIII в.

Являясь представителями одной из древнейших собачьих пород, известной еще во втором тысячелетии до н.э. и культивировавшейся при дворе китайских императоров, мопсы, вероятно, давали богатую пищу для воображения⁸. В культуре XVIII в. мопсы функционируют как высокоразвитые эзотерические существа, носители тайного знания. В уже упоминавшейся повести о приключениях малого Помпé его учителем и философским наставником оказывается экзотическая белая кошка, произошедшая, как сказано, «от некоторой древнейшей на земле породы» и имевшая опыт перевоплощения. На морде у ней имелись две бородавки, и называлась она Мопса. Местом встреч была библиотека хозяина, где они проводили в философических беседах долгие часы [Помпе: 78–80, 86]. А в книге Габриеля Перо «Мопс без ошейника и цепи, или Свободное и точное открытие таинств общества, именуемого Мопсами» речь идет уже о кодексе логи Мопсов и связывающей ее членов тайной символике [Перо 1784]⁹. Вспомним в этой связи описание Поприциным кабинета его превосходительства, мира, ментально для него непроницаемого, и его неожиданную «догадку» об истинном статусе «этого мужа»: «Весь кабинет его уставлен шкафами с книгами. Я читал

⁸ Великая княгиня Ольга Александровна, дочь Александра III, вспоминала, как иногда император показывал ей собранную им в детстве коллекцию миниатюрных животных из фарфора и стекла. «А однажды отец показал мне очень старый альбом с восхитительными рисунками, изображающими придуманный город под названием Мопсополь, в котором живут Мопсы. Показал он мне тайком, и я была в восторге оттого, что отец поделился со мной секретами своего детства» (цит. по: [Куликовская-Романова]).

⁹ Ложа «Мопсов», действительно существовавшая в Европе с 1740-х гг., избрала мопса в качестве своего символа. Посвященным вменялось в обязанность приходить на собрания с мопсами или иметь при себе их изображения, в связи с чем этот мотив столь часто встречается на медальонах, брелоках, табакерках и шкатулках XVIII в. Предмет служил для его обладателя опознавательным знаком в обществе других членов «ордена мопсов» (см.: [Перо 1784]).

называния некоторых: все ученость, такая ученость, что нашему брату и приступа нет <...> Это масон, непременно масон, хотя и прикидывается таким и эдаким».

Постепенно вокруг мопсов начинает складываться то, что вполне можно назвать «культурным текстом», с одной стороны представленным литературной и культурной мифологией, с другой — украшениями, фарфоровыми изделиями, предметами быта и изобразительного искусства. В середине XVIII века в Петербурге по указу императрицы Елизаветы Петровны была открыта Порцелиновая мануфактура. Там в 1748 г. Д. И. Виноградов изготовил первое фарфоровое изделие — табакерку «Мопсы»:



Илл. 3. Фарфоровая табакерка с росписью работы А. Черного. 1752 г.
Гос. Эрмитаж

Очень быстро табакерки с изображением или в виде мопсов становятся лидером продаж среди отечественных табакерок.

Спрос на них практически не иссякает, а в конце века даже увеличивается в связи с новой волной моды на эту породу.

Культурная мифология табакерки в XVIII в. вполне сопоставима по своим масштабам и символическому спектру с «собачьей» темой и касается тех же сфер повседневной жизни: мира общественной иерархии, моды и любовных отношений. В дальнейшем табакерка, как и *моська* (на рубеже XVIII и XIX вв. уже образ собирательный), становится «одной из наиболее опознаваемых метонимий XVIII в.» [Григорьева: 223]. Совпадает и их семантика: за обеими закрепляются роли статусного знака, модного аксессуара, «почтальона» и интимного посредника. Все эти мотивы войдут в состав основных смыслообразующих констант в ЗС.

Однако главное в табакерке то, что это «коробочка, вместилище, т.е., основание стать контейнером, причем закрытым для нежелательных глаз <...> Немаловажно и то, что это вместилище для табака» [Там же: 224]. Здесь мы подходим к одному из наиболее изученных гоголевских мотивов, в котором выделим лишь необходимый для нас аспект. Топика, сопровождающая в повестях Гоголя такие образы-медиаторы, как *собака* и *табак*, стягивается в единое ассоциативное поле с семантикой пограничности, зыбкости, раздвоенности, метаморфоз и чертовщины [Вайскопф: 333–343]. С одной стороны, его представляют существующие в межмирье собаки, вроде Меджи и Фидели или пуделя-казначей из повести «Нос» (сюда же можно отнести собачье-бесовскую аранжировку «Вия», «Пропавшей грамоты» и «Ночи перед рождеством» [Фаустов: 173]), с другой — вся «табачная» парадигма, от торгующих «сатанинским зельем» немцев-табачников до сакраментальной табакерки Петровича в «Шинели». После «магической консультации» с табакеркой (а именно — «натащивши в нос табак») Петрович выносит приговор старой шинели, а новую достает из *носового* платка (что, по предположению М. Вайскопфа, подсказано повестью Гофмана «Крошка Цахес», где фрак достают из волшебной черепаховой табакерки [Вайскопф 1993: 334–335]).

Итак, табакерка это «вместилище тайны» и одновременно магический «портал», открывающий путь в некое иное измерение¹⁰.

На сюжетном уровне повести таким иным измерением в представлении Поприщина является как раз то, проводником в которое служит генеральская собачонка. Для героя это измерение означает недостижимую ступень социальной иерархии (где он в итоге и обретает себя, перейдя в своем сознании грань реальности и оказавшись по ту сторону кривого зеркала королем Испании). Но Меджи — еще и путь к тайне собственного либидо, сфере столь же притягательной («там-то, я думаю, чудеса, там-то, я думаю рай, какого и на небесах нет») и такой же во всех смыслах табуированной для Поприщина («ничего, ничего... молчание»), как и приватное пространство ее превосходительства. В представлении Поприщина, это область «совершенной амбры», земное воплощение луны, идеального мира, в котором живут носы. (Здесь невольно возникает ассоциация с расположенным за спальней Екатерины II в Царскосельском дворце Синим кабинетом, облицованным стеклянными медальонами и названным «Табакеркой».) Заветный мир для Поприщина — это область исключительно возвышенных обонятельных эмоций. То, что располагается вне этого магического пространства, источает «вонь страшную, так что нужно затыкать нос». Поэтому путь к переписке, в дом собачки Фидели, описывается как тяжелое испытание, выпадающее на долю, прежде всего, поприщинского носа: поначалу ему приходится продираться сквозь настоящий ароматический ад (подобное обрушивается и на Башмачкина на его пути к Петровичу), когда же цель достигнута, собачонка чуть не хватается его «зубами за нос». Эпизод выстроен таким образом,

¹⁰ В этом смысле обращает на себя внимание присутствие зеркального мотива в табакерке «Мопсы». На внешней стороне крышки изображены четыре играющих мопса, на внутренней — их три: два держат в лапах большое зеркало, в которое смотрится третий мопс, откуда же на него глядит «четвертый» — теперь его отражение. Миниатюра, таким образом, иллюстрирует «метафизическую» суть и трансграничную природу табакерки.

что вся инициатива в поисках и добыче заветных писем принадлежит носу, который, по сути, и овладевает письмами для того, чтобы получить, наконец, возможность приобщиться к миру «амбры». Весь спектр эротических коннотаций, связанный с носом и областью его притязаний, отсылает, помимо всего прочего, к лубочной и авантюрной традициям XVIII в., активно используемым Гоголем. Так в сочинениях М. Чулкова и В. Левшина тема взаимоотношения полов разворачивается в серии эвфемистических сюжетов о носе и табакерке, табакерке и господине, своднице с табакеркой и пр. Табакерка сопутствует любовной интриге, сигнализирует о пикантности ситуации и часто выступает метонимической заменой предмета возбуждения, реализуя, т.о., свернутый в ней сексуально-эротический подтекст (см.: [Melek 2002]). Прием сохраняет свою актуальность и для читательской аудитории нач. XIX в., ср.: «Увы! милостивый государь, моя милая не то, что вы воображаете, она только бумажная, и стоила мне двенадцать копеек. Я держал ее в руке и разговаривал с нею, как вы меня прервали. — Так вы о своей табакерке хотите говорить? — Да сударь, о чем же больше? — Право, я думал, что речь была о вашей любовнице» [Путешествие 1803: 23–24]¹¹.

Между тем участие носа в добывании почты предстает как гротескная иллюстрация к более специальному виду коммуникативного акта, практиковавшегося в XVIII в. Популярность табакерок объяснялась не только модой нюхать табак — галантная эпоха нашла им более куртуазное применение: по-

¹¹ Ср. также использование этого кода самим Гоголем в альбоме Е. Г. Чертковой: «Наша дружба священна. Она началась на дне тавлинки. Там встретились наши носы и почувствовали братское расположение друг к другу, несмотря на видимое несходство их характеров. В самом деле: ваш — красивый, щегольской, с весьма приятно выгнутою линиею; а мой решительно птичий, остроконечный и длинный, как Браун, могущий навещаться лично, без посредства пальцев, в самые мелкие табакерки (разумеется, если не будет оттуда отражен щелчком) — какая страшная разница! <...> Впрочем, несмотря на смешную физиономию, мой нос очень добрая скотина...» [Гоголь 1952: 25].

средством табакерки осуществлялась интимная и любая другая тайная переписка. Механизм ее подробно описывает Н. И. Страхов в своей «Переписке Моды» (1791): «Волокита и его любовница с сих пор когда сойдутся вместе, то потчивают друг друга табаком и друг у друга понюхивают оной. Во время сего нюхания волокита искусным образом спрятавши между пальцев заготовленную цыдулку <...> кладет оную мгновенно в табак своей красавицы; а иначе, если он находит в сем некоторое неудобство, то подносит красавице свою табакерку и потчивает табаком, в середине коего находится свернутая цыдулочка, которую она, ошупав пальцами, достает и искусно прибирает в платок или карман...» (заметим, что письма Поприщин находит *в лукошке* в виде «*небольшой связки маленьких бумажек*») [Страхов 1791: 98–99]. Табакерки, говорит Страхов, назначены модным веком «служить кибиточками любовной почты»¹².

Пуант в развитии этого сюжета ставит та же «Переписка Моды». Табакерка в ней обретает голос, и, что значительно важнее, слог — она сама вступает в переписку. Каждый персонаж «Переписки» отмечен собственным эпистолярным стилем: г-жа Мода изъясняется на «французско-нижегородским» наречии, кокошник — на архаизированном просторечии, карточные игры — на стилизованном «шулерском» жаргоне и т.д. Слог табакерки — отражение ее культурного и социального амплуа: она, естественно, грамотна, владеет нарративом, терпелива, в меру жеманна и знает себе цену. Приблизительно такое же впечатление производит на Поприщина поначалу и слог Меджи: «Письмо писано очень правильно. Пунктуация и даже буква “ять” везде на своем месте. Да этак просто не напишет и наш начальник отделения...». Однако далее письма Меджи его разочаровывают: «Тот час видно, что не человек

¹² Эта метафора, отражающая второе, приватное, назначение аксессуара, еще в елизаветинскую эпоху была реализована в его дизайне: в 1753 г. Имп. фарфоровый завод стал выпускать быстро вошедшие в моду при дворе так называемые «пакетовые» табакерки, стилизованные под запечатанный конверт с адресом.

писал. Начнет так, как следует, а кончит собачиною». Можно сказать, что аналогичным образом устроены и письма страховских персонажей. Из письма табакерки: «Правду сказать, я бы долго наслаждалась счастливым моим состоянием, если бы должность любовного почтаря не открыта была некоторым жестоким и всеми ненавидимым человеком <...> кои известны здесь под именем мужей <...> Муж заметил, что меня крайне набивали любовными пакетами <...> Сердитой муж <...> по прочтении стихов <...> меня ударил об пол, что есть силы. Я долго лежала без памяти, и очнувшись увидела...» и т.д. [Страхов 1791: 99–102]. Письмо датировано «Месяцем *табаку виоле* в 21 день».

Страхов использует тот самый прием, который позже будет назван А. Ковачем «сценической моделью нарратива», действующей «как личность». Именно в этом, наряду с другими авторами, Ковач видит одно из главных художественных открытий Гоголя, сделавшего «шаг к “драматизации” подробностей и мелочей “недвижущегося” мира» и превращению их из атрибутов этого мира в его персоны [Ковач: 204]¹³. «Собачина» или, другими словами, смена оптики, дающая картину глазами мопса, табакерки или любого другого существа или предмета, разворачивает мир его обратной, скрытой стороной (почему, собственно, тайное и становится явным). Но, завладев собачьей перепиской, Поприщин сам оказывается носителем ее эпистолярного вируса, «собачина» — специфическая форма «воспаления языка» (Д. Куюнжич) — проникает и начинает разрастаться уже в записках самого Поприщина. Здесь в очередной раз меняется оптика текста — и перед нами уже разворачивается реальность глазами новоявленного короля Испании. В результате читатель повести вынужден констатировать то же, что и читатель собачьих писем Поприщин: предложенные публике записки титулярного советника, как и письма гене-

¹³ О традиции «догоголевской» поэтики в XVIII в. см.: [Зайонц 2004; Зайонц 2006].

ральской собачонки, начались «так, как следует», а кончились «собачиной»¹⁴.

Насколько перечисленные выше издания были известны Гоголю, мы с полной уверенностью не беремся ответить, однако места, где они могли попасться ему на глаза существовали: в 1830-е гг. — это лавка Смирдина в Петербурге, а в период отрочества Гоголя — домашняя библиотека Дмитрия Трошинского, в поместье которого в Кибинцах часто гостили Гоголи-Яновские. Своей начитанностью в литературе XVIII в. Гоголь был обязан именно этой библиотеке. Там на полках стояли сочинения Сервантеса и Свифта, книга Г. Перо о ложе Мопсов, русская периодика 1780–1790-х гг., сочинения В. Левшина, М. Чулкова и Н. И. Стрехова [Каталог].

В заключение один эпизод из биографии Гоголя, о котором нельзя не упомянуть в связи с вышесказанным. За два года до появления первых набросков к повести, Гоголь служил в доме Александры Ивановны Васильчиковой в качестве домашнего воспитателя ее сына, страдавшего умственной неполноценностью. Летом 1831 г. семья переехала в Павловск, где поселилась на даче у графини Екатерины Александровны Архаровой, матери Васильчиковой и бабушки В. Соллогуба. Графиня была известна своей преданностью старому придворному этикету, которому, несмотря ни на что, продолжала неизменно следовать, выезжая с визитами и ко двору. Воспоминание об этом бабушкином чудачестве оставил В. Соллогуб, в то лето (по ее рекомендации) познакомившийся в Павловске с Гоголем. Главное впечатление, вспоминает Соллогуб, производил на павловскую молодежь выход графини и ее наряд. Она «облекалась в шелковый, особой доброты халат или капот, к которому на левом плече пришиливалась локарда Екатерининского орде-

¹⁴ Принцип «удвоения» или «раздвоения» «Записок» Поприщина на *записки* и *собачьи письма* отчасти просматривался в названии, под которым повесть появилась в сборнике «Арабески» — «Клочки из записок сумасшедшего»: подобную «законченную форму» приобретает стараниями Поприщина и исчерпавший себя эпистолярный Меджи («я изорвал в клочки письма глупой собачонки»).

на» [Соллогуб: 72]. Через правое плечо она перекидывала старую желтую турецкую шаль, «чуть ли не наследственную», затем ей подавали костыль и «золотую табакерку в виде моськи» — две точки опоры, делавших ее поступь твердой, а ушедший век осязаемым (илл. 4).



Илл. 4. Золотая табакерка в форме мопса. Неизвестный ювелир. Санкт-Петербург, 1760-е годы.

ЛИТЕРАТУРА

- Беньямин: *Беньямин В.* Происхождение немецкой барочной драмы. М., 2002.
- Болотов: *Болотов А.* Избранное. Псков, 1993.
- Вайскопф: *Вайскопф М.* Сюжет Гоголя. М., 1993.
- Виноградов: *Виноградов В. В.* О литературной циклизации. По поводу «Невского проспекта» Гоголя и «Исповеди опиофага» Де Квинси // Виноградов В. В. Поэтика русской литературы. М., 1976.
- Гоголь 1938: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. М.; Л., 1938. Т. III.
- Гоголь 1952: *Гоголь Н. В.* <В альбом Е. Г. Чертковой> // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М.; Л., 1937–1952. Т. IX. 1952.
- Григорьева: *Григорьева Е.* Безделушка (философско-семиотические заметки по пустякам) // В честь 70-летия профессора Ю. М. Лотмана / Тартуский университет, кафедра русской литературы. Тарту, 1992.
- Дамский раскашик: *Дамский раскашик, или Парижские вечера.* Пер. с фр. Ч. I. М., 1827.

- Екатерина: Письма императрицы Екатерины II к Гримму (1774–1796). Изд. акад. Я. Грот. СПб., 1878.
- Зайонц 2004: *Зайонц Л. О.* «Хворания по моде» Николая Страхова, или Об одном неосуществленном замысле Ю. М. Лотмана // Антропология культуры. Вып. 2. М., 2004.
- Зайонц 2006: *Зайонц Л. О.* «Невский проспект»: в направлении прототекста // Тыняновский сборник. Десятые – Одиннадцатые – Двенадцатые Тыняновские чтения. М., 2006.
- Каталог: *Каталог* антикварной библиотеки книгопродавца Е. Я. Федорова, приобретенной после бывшего министра Д. П. Трошинского. Киев, 1874.
- Ковач: *Ковач А.* Повесть Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего» и проблема персонального повествования (мир, текст, сюжет, память) // *Studia Slavica*. Budapest, 1987, 3/1–4.
- Куликовская-Романова: *Куликовская-Романова О. Н.* Немеркнувший свет милосердия. Великая Княгиня Ольга Александровна как художник и благотворитель // *Русская линия* / Библиотека периодической печати. 25.05.2007. <www.rusk.ru/st.php?idar=111602>. (20.12.2010).
- Манн: *Манн Ю.* Гоголь. Труды и дни: 1809–1845. М., 2004.
- Помпе: Жизнь и приключения малого Помпé, постельной собаки. Критическая история. Пер. с нем. СПб., 1766.
- Пумпянский: *Пумпянский Л. В.* Н. В. Гоголь // Пумпянский Л. В. Классическая традиция. М., 2000.
- Путешествие: Путешествие в мои карманы / Пер. с фр. М., 1803.
- Осоргин: *Осоргин М. А.* Сказание о табашном зелье // Сивцев Вражек: Роман. Повесть. Рассказы. М., 1990.
- Сервантес: *Сервантес де Сааведра М.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1961. Т. IV.
- Словарь: *Словарь* Коммерческий, содержащий познания о товарах всех стран и названиях вещей главных и новейших, относящихся до Коммерции / Пер. с фр. В. Левшин. 1791. Т. VI («С»).
- Соллогуб: <*Соллогуб В. А.*> Петербургские страницы воспоминаний графа Соллогуба. СПб., 1993.
- Фаустов: *Фаустов А. А.* Маленький человек: эпизоды биографии // Савинков С. В., Фаустов А. А. Аспекты русской литературной характерологии. М., 2010.
- Чудаков: *Чудаков Г. И.* Отношение творчества Гоголя к западно-европейским литературам. Киев, 1908.
- Шаховской: *Шаховской А. А.* Комедии. Стихотворения. Л., 1961.

ЭМ: Экономический магазин, или собрание всяких экономических известий, опытов, открытых примечаний, наставлений, записок и советов... Тип. Н. Новикова. М., 1789.

Hammarberg: *Hammarberg G. Dogs and Doggerel: Gogol's Eighteenth-Century Roots // Russian Society and Culture and the Long Eighteenth Century. Essays in Honour of Antony G. Cross. Münster, 2004.*

MacDonogh: *MacDonogh K. Reigning Cats and Dogs. New York, 1999.*

Melek: *Melek E. Табакерка, или заметки о бытовой и литературной «карьере» одной безделушки // Russian Literature. Vol. LII. Nos I/II/III. 2002.*

Spieker: *Spieker S. Writing the Underdog. Canine Discourse in Gogol's Zapiski sumasshedshego and its Pretexts // Wiener Slawistischer Almanach. 28 (1991).*

Ziolkowski: *Ziolkowski T. Talking Dogs: The Caninization of Literature // Ziolkowski T. Varieties of Literary Thematics. Princeton, 1983.*